

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ХАЙРЕ! — РАДУЙСЯ!

I

Греция сверху. Эвтимеос и Лазарь. Предместья Афин. Олеандры. Эгейское море. Мотоциклисты. Вино. Гречанка Варилопуло. Акрополь. Холм Ареопага.

Вид на Грецию сверху, с высоты десяти тысяч метров, уже вызывает в душе безотчетную радость. Внизу архипелаг Северные Спорады — и облачность, закрывавшая от нас Турцию, как раз кончилась. Видно бирюзовое, солнцем залитое море, по которому разбросаны четкие, словно отштампованные, буровато-зеленые острова. К такой резкости черт и полуденной яркости красок наш русский взгляд пока непривычен — размытость и полутона нам понятнее, ближе, — но понемногу, любуясь греческими островами, становишься как бы другим человеком: по-южному резким, горячим, живым.

Белые теплоходы заметны даже с большой высоты — а скоростные катера, сами невидимые, оставляют за собой пенные, хорошо различимые сверху, усы. Интересно, что море в кильватерных струях судов всегда более светлое: густая сине-зеленая бирюза превращается в бледно-небесного цвета лазурь. Недаром же написал Лермонтов: *“Под ним струя светлей лазури...”*.

Не успеваешь налюбоваться на Грецию сверху, как самолет начинает снижаться к Афинам. Четверть часа уходит на паспортный контроль и получение багажа — и вот мы знакомимся с гидом, который будет сопровождать нас всю греческую неделю. Высокого художавого парня зовут Эвтимеосом. Его живой взгляд приветлив, а его русский почти безупречен. Похоже, с гидом нам повезло — как повезло и с водителем Лазарем, смуглым крепышом лет 50-ти. Они с Эвтимеосом подшучивают друг над другом, смеются — и в автобусе устанавливается атмосфера непринужденного веселья.

Тем временем катим по восточным предместьям Афин. Пригороды всех больших городов друг на друга похожи: что Афины, что Тула или Москва полны пыли и рева машин. Однако разница есть: олеандры. В Афинах вдоль улиц тянутся насаждения дикого лавра, сплошь увитые белыми либо розовыми цветами. Это очень красиво, но Эвтимеос предупреждает: *“Олеандры не трогать и даже не нюхать — они ядовиты!”* Впрочем, губительность красоты — это слишком избитая тема, чтобы развивать ее в этих кратких заметках.

Мы поселились в отеле под названием *“Феникс”* — и я тороплюсь на Эгейское море, купаться. Оно совсем рядом: пересечь только шумную, в остервенелых машинах, дорогу. Городской пляж многолюден, и зрелище тел, рас-

пластавшихся под полуденным солнцем, как и всегда, удручает. Древние эллины, те еще как-то пытались сделать мышцы тугими, движенья пластичными; нам же, теперешним — кажется, лучше б и вовсе не раздеваться.

Но море есть море. С облегченьем ложусь в его теплую синь и, гребком за гребком, отдаляюсь от берега. Море очень соленое, и вода щиплет пересохшие губы; но эти соленые поцелуи Эгейского моря чем-то даже приятны. Вода чистая, теплая: кажется, можно плыть бесконечно.

Минут через двадцать выхожу на песок, в гомон пляжной толпы, надеваю майку и шорты на мокрое тело и иду поискать: где бы выпить вина? Пять, десять минут шагаю обочиной шумной дороги, идущей вдоль моря, но не нахожу ничего, похожего на кафе или магазин. Мимо, один за другим, проносятся мотоциклисты: их вообще очень много в Афинах. Чаще всего за рулем сидит парень в “косухе”, гордо расправивший плечи, а к его спине припадает условно одетая девушка. Эта мотоциклетная пара проносится с ревом, в угарном дыму, как некий мираж мегаполиса — а им, молодым, промелькнувшим видением кажешься как раз ты, бородатый и лысый мужик на обочине.

Добрел, наконец, до бензоколонки, где был магазинчик. Взял бутылку местного красного, сел за столик в тени, отхлебнул два приличных глотка и вот только теперь ощутил: я в Элладе... Возможно, вы скажете: экий ты, братец, хитрец — да с вином-то любой ощутит себя где угодно, хоть на Луне. Отчасти, конечно, вы правы. Но, с другой стороны: где взять в Калуге вот эту морскую лазурь, которая словно стекает по мачтам толпящихся в бухточке яхт, этот стрекот цикад, слышимый даже сквозь непрерывный гул трассы, этот зной, эти резкие тени акаций и пальм на горячем асфальте? То превращение из обитателя севера в жителя юга, которое началось еще в самолете — оно вполне обозначилось только здесь, за бутылкой вина, в шумном пригороде Афин.

Но всего удивительней был эффект дежавю, то есть чувство, что я здесь уже был. Все то, что я видел впервые — мачты яхт, море, сухие холмы вдалеке — оно вовсе не было мне незнакомым. Если б я верил в метемпсихоз, то сказал бы, что в прошлой жизни я был, без сомнения, греком. Впрочем, в каком-то смысле так оно и есть: среди моих прямых предков, в пятом все-го поколении, была настоящая гречанка.

Эта история стоит того, чтоб ее рассказать. Где-то в первой трети позапрошлого века (Пушкин еще не закончил “Онегина”) на окраине курского села Выгорное, где тогда жили мои предки по матери, появилась молодая черноволосая женщина, имевшая при себе только свернутый в трубку ковер да кофейник. Она шла откуда-то с юга и была совершенно измучена жаждой, усталостью, зноем. В крайней хате села странница попросила напиток. Кто-то из крестьян Герасимовых дал ей воды, потом пустил в хату переночевать — а потом и женился на смуглой красавице, едва знавшей по-русски несколько слов. Фамилия этой загадочной странницы была Варилопуло*, а то время как раз совпадало с борьбой греков против турецкого ига — то есть появление греческих беженцев в южных российских губерниях было вполне объяснимо. Так вот и случилось, что к русым кудрям моих курских предков оказалась подмешана греческая чернота. Даже в моей родной бабушке Марии Денисовне (правнучке этой гречанки) была явно заметна нерусская, южная кровь: прямые черные волосы, чуть смугловатая кожа, черты лица правильно-резкие, очень красивые.

Не забудем еще и о том, что Греция — родина русского православия; а если брать шире — то и родина всей европейской цивилизации. Так что, помимо кровных, еще и духовные узы соединяют меня с этой древней землей. Мы здесь — во всех смыслах слова — на родине...

...Вечером, уже в густеющих сумерках, трамвай вез нас к центру Афин. За стеклом, как в калейдоскопе, складывались и распдались огни красно-синие-зеленых реклам, проплывали машины, деревья, дома и шагавшие люди. Но все это воспринималось как нечто миражное — словно сон, еще только мечтающий о своем воплощенье.

И вдруг, надо всей нереальной, плывущей в ночи, пестротой, взгляду открылось нечто настолько знакомое — что нас всех, туристов, пригнуло к окну

* “Варилопуло” — “большая бочка”. Видимо, виноделие (или, может быть, винопитие?) было не чуждо моим греческим предкам.

и исторгло единый и радостный выдох: “Акрополь!”. На холме, в ореоле подсветки, парил колонны и стены, немного был виден фронтон Парфенона, и все это нам показалось до боли родным. Согласитесь: архитектура классической Греции нам знакома не только по школьным учебникам. Имперское зодчество нашей советской эпохи копировало именно античные образцы. Любой дом культуры или кинотеатр в любом захудалом поселке страны возводился по образу и подобию Парфенона: треугольный фронтон и колонны были столь же привычны эпохе, как красное знамя или улица Ленина.

Пройти на Акрополь нельзя, уже поздно – и мы идем вокруг холма, по улице под названием Перипат. Именно здесь бродили, беседуя, философы-перипатетики. Сейчас здесь туристы, запоздалые торговцы сувенирами да на показ обнимающаяся молодежь. Ступени ведут наверх, на какую-то каменную скалу: там слышен смех, переборы гитары.

Поднимаемся. Внизу море афинских огней, над нами – парящий в подсветке Акрополь; а вокруг, на теплых камнях, расположились компании разноразличной смеющейся молодежи. Но что это за место? Открыв карту путеводителя, соображаю: это же Ареопаг, холм суда – то самое место, где осудили Сократа! Значит, именно здесь совершалось печально известное это судилище, здесь считали бобы – и черных оказалось всего штук на тридцать больше, чем белых, – здесь Сократ произнес две свои знаменитые речи, здесь он, на прощанье, сказал: “Ну, что ж, афиняне: вам пора отправляться жить, мне – умирать, а что из этого лучше, еще неизвестно...”.

Спустившись с холма, идем дальше. Внизу темнеет агора; справа небольшой храм, на котором написано: “Метаморфозис”. Он восхищает и грубою кладкой, и низким куполом с православным крестом, и всем своим древним, приземистым видом.

На улочках старого города пахнет кофе и жареным мясом. Из дверей таверн звучит музыка; в раскрытые окна нам видно, как развеселые посетители пытаются танцевать сиртаки. Ночь так хороша и нежна, она так волнует, что на месте сидеть невозможно: ноги сами несут сквозь тесноту кривых улиц, сквозь запахи кофе и звуки бузуки (гибрида гитары и банджо), сквозь длящийся праздник ночных, полных жизни, Афин...

Возвращались последним трамваем. Усталость брала свое, и то, что мелькало в трамвайном стекле, вновь представлялось какою-то странною смесью яви и сна. Огни, лица, надписи, снова огни – все это зыбко дрожало, сливаясь друг с другом и вновь разрываясь, все таяло и расплывалось, теряло привычные формы. “Все течет, все течет...” – словно кто-то назойливо, в сонной твоей голове, повторял знаменитую формулу Гераклита. Диалектика сна казалась сильнее метафизики яви, и ты уже не был уверен: действительно ты был сегодня в Афинах – или это всего лишь приснилось тебе?

II

Пирей. “Царица небесная”. Море и острова. В порту Идры. Храм на острове Эгина. Народные танцы. Греческое небо. Боги и герои.

Утром, пока еще нет больших уличных пробок, едем в Пирей, афинский порт. Пирей – это город, теснящийся к морю; и это громады домов – белых, многоэтажных, красивых – которые, при ближайшем рассмотрении, оказываются не домами, а морскими судами. Всех огромней паромы, которые ходят в Италию. Это что-то невообразимое по высоте и длине, по тому многолюдью, какое шумит на их многочисленных палубах.

Наш теплоход, к счастью, меньше: всего-то три палубы. Зато называется он – только не смейтесь – “Царица Небесная”. Как потом оказалось, в Греции это традиция; я видел корабль, называвшийся просто: “Христос”.

На “Царице Небесной” – всякой твари, как говорится, по паре. Итальянцы и англичане, французы и греки, японцы и американцы – весь мир оказался представлен на нашем ковчеге. Вон там “пшекает” Польша; там пьет водку швед с рыжей шкиперской бородой; а вон там, похоже, испанки: четыре старухи, одетые в черное, вот-вот, кажется, встанут и застучат каблуками, танцую фламенко. Обходить палубы и рассматривать корабельную публику было так интересно, что я не заметил, как мы отчалили. Громады судов, об-

ступавшие нашу “Царицу”, сместились к Афинам, к их белеющим до горизонта домам – а моря и ветра вокруг стало больше. Я поднялся на верхнюю палубу и долго смотрел, как форштень отваливал маслянисто-густую, сливового цвета, волну. Солнце жгло, встречный ветер был сух и горяч. Чайки вились, кричали и падали к пенной струе за кормой. Для полного счастья не хватало лишь чашечки кофе; я взял в баре “метрос эллиникос”, то есть средне-сладкого кофе по-гречески – и затем долго, блаженно сидел под навесом на палубе, глядя в море, на чаек и на острова, и медленно перетирая в зубах кофейную горьковатую гущу.

Острова здесь повсюду: пустого, безбрежного моря увидеть нельзя. Есть острова совсем маленькие – вроде того, что сейчас проплывает по правому борту: кроме чаек да ящериц на нем, похоже, никто не живет – и есть острова посolidнее. Например, Саламин – вон вдали возвышается его бурый, скалистый, обветренный берег. Острова породили особую – вот именно, что “островную” – психологию древних эллинов. Жить на острове означало вести самобытную жизнь. Та идея города, как самоуправляемой и самодостаточной единицы, к которой европейская цивилизация шла веками – она была дана грекам уже изначально, самим их землеустройством, самим разделением их мира на обособленно существующие острова. Ведь даже, живя в коллективе, в своем роду-племени, грек всегда создавал: он в этом обществе тоже является островом, некоей особой и самодостаточной единицей – точно так, как любой, даже самый маленький остров Эгейского моря является необходимою частью огромного Архипелага. Все, что дали нам древние эллины, все, что они породили – а они породили, придумали и сотворили едва ли не все, чем живет наш теперешний мир, – вышло именно из островной психологии, из ощущения себя, человека – отдельной, пускай даже малой, но необходимою частью огромного мира.

Не вдаваясь в подробности и оговорки, можно сказать коротко: греки сделали ставку на личность. В сущности, все человечество, от ветхозаветных времен до сегодняшних дней, можно делить на две части: на человечество личностей – и человечество масс. Первая – это античные греки и порождавшая ими цивилизация Запада, вторая – Восток. Это вовсе, конечно, не значит, что Запад всегда, однозначно, хорош, а Восток всегда плох; современный-то Запад как раз не выносит высокого бремени личностного существования. Но это слишком серьезная тема; тут без бутылки, как у нас говорят, не разберешься – куда уж пытаться сейчас, с этой маленькой чашечкой кофе?

Солнце все выше. Небо становится все более бледным и плоским – зато море, напротив, все гуще, лиловей: в тени под бортом оно почти черное. Народ жметя в тень полосатых навесов, пьет фраппе (кофе со льдом), отдувается, млеет, потеет. Любуюсь на двух негритянок-подруг: обе черны, как сапожная вакса, но одна так худа, что похожа на черный скелет, а другая настолько толста, что вот-вот, кажется, лопнет. Соединить бы вас, думаешь, вместе, да потом поделить пополам – какие бы вышли красотики! Но, по поговорке, Бог и деревья в лесу не сровнял...

Приближается остров Идра, наш первый сегодняшний пункт остановки. Издалека он казался пустынно-скалистым. Но, как-то вдруг, из-за скального мыса открылся порт Идры: ослепительно-белые домики под черепичными красными крышами, которые облепили склон бурой горы, а в бухте – скопленные лодки и яхты, чьи мачты цветом качались на фоне пронзительно-синего моря. Эти три цвета – синий цвет моря, красный цвет черепицы и белый цвет домов – были настолько нарядны и райски-свежи, что вся корабельная публика тотчас вскочила, столпилась у левого борта, и затворы фотоаппаратов захлопали, словно аплодисменты.

Часа полтора мы бродили по райскому острову. Поднимались и опускались по улочкам-лестницам, сворачивали в проулки, фотографировали кошек, осликов и голубей, чей воркующий стон выражал как бы самую суть нашего собственного отношения к острову Идра: восхищение, для которого не доставало привычных, обыденных слов. Что такое полтора часа? Казалось, не только всю жизнь, но и целую вечность можно провести вот на этих ветвящихся улочках, то тенистых, то залитых солнцем – или внизу, в сложном гомоне порта, в тени полосатых маркиз, где свежо пахнет морем и кофе.

Даже к “Царице Небесной”, и то уходить не хотелось. Но все же, в положенный срок, мы отчалили – и остров Идра остался в душе как еще один об-

раз рая, как то заветное место, которое будет еще появляться в мечтах или снах.

Стоянка на следующем острове, Поросе, была скоротечной. Увидели башню с часами, цветущие заросли кактусов да берег Пелопоннеса: он совсем рядом, за узким проливом.

А вот на острове Эгина мы задержались подольше. Сначала пошли в храм Николая Чудотворца, покровителя моряков и крестьян. Церковь приземиста и коренаста, совсем как у нас, в южнорусских краях; но во дворе растут не березы, а пальмы и эвкалипты. Внутри храм пуст, гулок, сумрачен. Удивили стоящие посередине кресла для прихожан и резной трон митрополита. Но, в целом, дух храма был именно наш, православный, родной: лики икон и лампы, библейские росписи стен, запах ладана, золото алтаря...

По возвращении на “Царицу Небесную” нас ждал фольклорный концерт. О греческих танцах надо сказать особо. Танцор одет в юбку и туфли с помпонами. Смотрится это довольно потешно, но во всем есть практический смысл. Юбка для горных народов привычнее и удобнее брюк (вспомним шотландцев); а помпоны на туфлях, изначально подшивавшиеся для тепла, позднее служили тайником для ножей: грекам, так долго жившим под властью турко-османов, носить оружие запрещалось.

Возможно, что это же самое четырехсотлетнее иго османов, которое пало лишь в XIX веке, сформировало характер и греческих танцев. Ведь танец можно рассматривать как конспект исторической жизни, как краткое изложение, в ритме и жесте, побед и трагедий народа. Каков греческий танец? Поначалу это медленно-сонное, как бы подавленное, движение – словно попытка очнуться, ожить, сбросить нечто гнетущее – а потом бурный, радостный взрыв! Впрочем, описывать танец – дело почти безнадежное. Надо его если уж не танцевать самому – то хотя бы смотреть, хотя бы ладонями и каблуклами отбивать его страстный и радостный ритм...

Уже вечером, возвратившись в Афины, мы после купания в море сидели на пляже и любовались на звезды. Они здесь сочные, крупные: похоже, на звезды, как и на виноград, благотворно влияет тепло средиземного юга. И они висят очень низко: кажется, подними только руку – коснешься живой, перезрелой звезды...

Да, близкое небо – вот один из ключей, открывающих нам психологию древнего эллина. Небо, обитель богов, было именно своим, доступным: это же удивительный, если вдуматься, факт. Боги греков свободно сходили на землю, общались с людьми – но и люди могли подниматься на небо. Так, герой аристофановской комедии “Мир” прилетает к богам на навозном жуке – и это всех очень смешит, но никого особенно не удивляет.

Сближая себя, свою жизнь с олимпийцами, греки не то чтобы принижали богов – нет, божества оставались, как им и положено, божествами, – но люди зато возвышали себя. Наверное, этим и объясняется то, что гармоничный человек, насколько вообще он возможен в реальности, был явлен именно в Греции. Слова “он не умеет ни читать, ни плавать” означали в устах древних греков непроходимо-тупого невежду, человека, бездарного умственно и физически, антипода тому олимпийскому идеалу, стремиться к которому было долгом любого мало-мальски порядочного человека и гражданина.

Близость греков к их олимпийскому небу, наделение богов человеческими чертами, отсутствие резкой и непроходимой границы между миром богов и миром людей породило еще одно следствие. Речь о героях, о тех, кто рожден земными женщинами от бессмертных богов. Античный герой, понятно, не бог – но уже не вполне человек. С одной стороны, герой смертен и проигрывает богам в прямом состязании; но, с другой стороны, герой всегда может расти, совершенствоваться, побеждать сам себя – в нем скрыта та сила саморазвития, которой не обладают статичные боги. Герой, так сказать, интереснее бога, в его личности есть динамика и драматизм, в нем больше жизни и тайны.

Через героев небо как бы породнилось с землей и стало действительно близким. В каком-то смысле именно греческое мифотворчество психологически подготовило души людей к новой эре, к рождению Христа. Ведь Христос, по понятиям древнего эллина – настоящий герой, то есть сын Бога и земной женщины. В этом смысле Древняя Греция – духовная родина христианства не в меньшей степени, чем Древняя Иудея. Недаром же то православие, кото-

рое позже пришло и в Россию, является, по выражению богословов, “эллинистическим христианством”.

III

Элевсиний. Мегары. Коринфский канал. Диоген и его потомки. Дорога над морем. Театр Эпидавра. Терапия трагедией. “Хайре!”.

Сегодня мы едем на Элевсиний. В древности в этих местах совершались Элевсинские таинства в честь богини Деметры. Теперь здесь нефтяные заводы: сакральное снижено до прагматического.

Справа – лимонные и апельсиновые рощи, слева – остров Саламин. Вот именно в этом проливе, в 480 году до н. э., греками был уничтожен флот Ксеркса. Все здесь когда-то гремело от криков, ударов и треска ломаемых весел, и вода была красной от крови. . .

Проезжаем Мегары, город пьяниц, обжор и любителей роскоши. Говорили: “Мегарцы объедаются каждый день так, будто им завтра умирать”. Сейчас это тихий, маленький городишко, и особенной роскоши что-то не видно.

А вот и Коринфский канал. Зрелище, право же, стоит того, чтоб покинуть автобус и с моста, не спеша, оглядеть это грандиозное творение человеческих рук. Шестикилометровый перешеек, на котором “висит” полуостров Пелопоннес, словно разрезан гигантским ножом: щель шириной метров сорок и глубиной около ста (!) прошла через скалы, соединив Ионическое море с Эгейским. Интересно, что сказал бы мудрец Диоген, обитавший неподалеку, в Коринфе – если б ему показали сие рукотворное чудо? Что одним островом в Греции стало больше (ибо Пелопоннес теперь, говоря строго, остров), но что эллинам надо бы заботиться не об умножении числа островов (их и так много) – но об умножении числа настоящих, достойных людей? “Ищи человека!” – сказал бы, возможно, мудрец.

Пока остановка – поговорим еще о Диогене. Похоже, что именно он, сын фальшивомонетчика из Синопа – самый знаменитый из философов Греции. Если спросить какого-нибудь нерадивого, но смышленного современного школьника: “Знаешь ли ты хоть одного древнегреческого мудреца?” – он, скорее всего, ответит: “Как же, знаю! Ну, этот. . . который жил в бочке!” То есть Диоген выражает собой архетип мудреца, образ философа как такового.

А что же он сделал такого, чтобы настолько прославиться? Ведь уже современники сознавали, какой удивительный человек живет с ними рядом. Когда хулиганы-мальчишки разбили пифос, бочку философа, то мальчишек поймали, торжественно высекли, а Диогену, на средства коринфской казны, купили новую бочку.

Говоря коротко, Диоген попытался освободить человека ото всего лишнего. И в этом безжалостном эксперименте (поставленном, что особенно важно, над самим же собой) он показал нам: человек не сводится ни к телу, со всей его физиологией, ни к еде и одежде, ни к каким-либо условиям и условностям быта, ни к социальному положению, ни к общепринятым нормам морали (пренебрежение общепринятым – одна из основ философии киников) – но человек есть особая сущность, невыводимая из условий материального мира и способная быть независимой ото всех этих материальных условий. То есть Диоген произвел вычитание из человека – всего, что не есть человек.

По сути, бунт Диогена – это великий бой за человека, бой за его честь и достоинство. Мудрец добровольно принял на себя три условия самого страшного наказания и проклятия, какое только могло пасть на эллина – “жить без общины, без дома и без отечества”. Вместо общины, отечества, дома мудрец избрал плащ, котомку и посох; но при этом он оставался человеком поразительной цельности. Лишившись всех внешних опор, он обрел их внутри себя самого. Знаменитый его разговор с Александром Великим – “Диоген, проси, чего хочешь!” – “Отойди, не загораживай солнца. . .” – это же образец отношений свободного человека с носителем власти; и недаром сам Македонский воскликнул: “Не будь я Александром – я хотел бы быть Диогеном!”

У Диогена, как это ни странно, оказалось немало наследников. “Рожденный богом” (именно так переводится его имя) сам породил мировую тради-

цию опрощения и нонконформизма. Так, движение хиппи середины XX века, с их славным девизом “All you needs is love” – лишь один из наиболее ярких примеров реинкарнации идей Диогена в новейшее время. А наша российская жизнь? Она же на каждом шагу рождает диогеновские сюжеты. Каждый из нас – стоит выйти из дома – ежедневно встречает Диогенов-бомжей, которые, за неимением пифосов, коротают ночи в подвалах, на чердаках или в коллздах теплоцентралей – а с наступлением дня выползают на наши “агоры”, туда, где толчется народ и где, стало быть, есть возможность раздобыть себе пищу. Конечно, интеллектом они послабей своего знаменитого предка; но ведь и условия жизни у них куда жестче. Еще неизвестно, как бы Диоген размышлял, как бы спорил с Платоном или беседовал с Александром Великим – переживи он хотя бы одну среднерусскую зиму.

Не только бродяги-бомжи, но и весь русский народ несет в себе, можно сказать, генетический культ Диогена. Почтенье и жалость к юродивым, нищим, убогим есть национальная особенность русских – столь же непонятная прагматичному Западу, как и вообще “загадочная русская душа”. Для западного человека юродивый, нищий, бродяга есть всего лишь ошибка социума, неудачник – “отброс от общества”, как выражалась моя покойная бабушка. В традиционном же русском – то есть православном – сознании именно нищий, бродяга, юрод есть человек, Богом избранный, тот, кто живет у Него на ладони – и поэтому он стоит выше социально успешных и внешне благополучных людей. Разница, согласитесь, огромная. И ныне, когда прагматическое западное сознание все более искажает исконный наш взгляд – мы, русские, почти уж готовы считать и самих себя некоей ошибкой природы, “отбросом от общества”, какими-то вечными “лузерами”. Помогает – спасибо ему! – Диоген. Здесь, в Греции, я твердо знаю и чувствую, что русскому нашему взгляду на мир, на убогих людей, на богатство и нищету – как минимум, две с половиною тысячи лет.

Дорога ведет нас на юг, по восточному краю полуострова Пелопоннес. Шоссе вьется над морем, по лесным склонам гор. Одна за другой открываются панорамы заливов: “Разрывы круглых бухт, – как писал Мандельштам, – И хрящ, и синева, И парус медленный, Что облаком продолжен...”. Созерцая все это – синеву моря и паруса облаков, уют греческих бухт – осознаешь, что идея гармонии, меры – то есть то главное, на чем выросла античная цивилизация – была дана грекам самой природой, была им внушена самим ритмом вот этих холмов и заливов, и мерным гекзаметром бьющих о берег полуденных волн...

Приближается Эпидавр, место рождения бога Асклепия, главного лекаря античного мира. Бедняга рос сиротой – мать его умерла, отцу, Аполлону, было не до прижитого между делом мальчишки – лишь коза да собака растили того, кто в дальнейшем сумеет лечить саму смерть. Вот на этом холме он и рос: коза его кормила, собака стерегла.

Самое яркое впечатление от Эпидавра – античный театр. Он составлял как бы единый комплекс со святилищем бога Асклепия, с той общеэллинской клиникой, куда приходили и приезжали за исцелением со всей Греции. Именно театр был первым шагом на пути восстановления духовного и физического здоровья. Терапия трагедией – то, что нам с вами непросто понять и представить – органично входила в жизнь эллинов и помогала им сохранить гармонически-светлое отношение к миру. До нас дошло только слово “катарсис”, которое означает, по Аристотелю, “очищение души через ужас и сострадание”.

Как же все это происходило? Вот мы сидим на краю громадной каменной чаши, на верхнем ряду – и слышим, как хрустят камушки под ногами у тех, кто расхаживает внизу: акустика, в самом деле, здесь поразительная. Вон там, внизу, была сцена, палатка для переодеваний – из которой, на высоких котурнах и в ярко раскрашенных масках, выходили актеры. Они нараспев, завывая, читали свои монологи – а хор гудел грозно, неотвратимо, и в скорбном гуденье его греки слышали голос судьбы...

Трагизм театрального действия был порою предельным. Вот, скажем, “Медея” Еврипида. Уж как ни накручивай страсти и ужасы современный нам театр и кинематограф, но додуматься до того, чтоб одержимая ревностью женщина, стремясь досадить изменившему мужу, жестоко убила не только соперницу и ее отца, но и собственных детей – раздуть угли трагедии до та-

кого пожара мы с вами вряд ли способны. Дело даже не в том, что у нас не хватит на это воображения — у нас не хватит на это психического здоровья. И драматург, и актеры, и зрители должны быть достойны трагедии — иначе вместо терапевтического эффекта наступит эффект разрушительный. И должна быть особого рода драматургическая культура, должна жить традиция театра, не потакающего прихоти публики — но возвышающая зрителя до высот сострадания и очищения.

Удивительно, но такой театр, такая традиция живы — еще и за это земной поклон грекам. И если кто-то желает почувствовать дух того, архаически-древнего, театра, желает понять, как трагическое способно лечить, желает почувствовать, что такое катарсис — ему нужно идти на церковную службу. В самом деле: что происходит во время храмовой службы — если смотреть на нее не с церковно-мистической, а с драматургической стороны? Священник и хор повествуют нам о страдальческой жизни Христа — но ведь это подобно тому, как актеры античного театра вели рассказы о подвигах и страданиях героев, рожденных земными женщинами от богов. Содержание действия страшно: смерть пожирает все то, чем мы так дорожим. Но, по мере того, как мы причащаемся грозному миру трагедии, по мере того, как сердца очищаются ужасом и состраданием — оживает и крепнет уверенность в том, что смерть не всесильна, что время не властно над человеческой, укрепленной страданием, душой.

И, конечно, лишь только в таком причащении трагическому человек и способен быть истинно счастлив. Недаром же и само слово “с-частье” означает именно “при-чащение”, соединение с тем, что и больше, и выше, и значимей нас. Вот это и есть терапия, вот это и есть настоящий катарсис; любое другое лечение, которое может нам предложить медицина и которое сводится, по преимуществу, к ремонту неотвратимо ветшающих тел — это все только паллиатив.

Можно сказать даже так: мы с вами действительно люди лишь только тогда, когда мы причастны трагедии — то есть соприкасаемся с тем, что несет неизбежную гибель, но что вместе с тем выявляет бессмертную, высшую суть человека. Недаром же сказано:

*Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог...*

К слову сказать, жили древние греки на удивление долго. Возраст расцвета мужчины — акме — сорок лет; примерно в этом же возрасте старались и обзаводиться детьми. Бомж Диоген прожил, питаясь объедками, 90 лет; Демокрит, догадавшийся о существовании атомов, — 100; а софист Горгий — целых 107. Возможно, секрет долголетия греков еще и в том, что они умели жить радостно — несмотря на трагизм, наполнявший их жизнь. Жизнь им нравилась, их увлекала, и они не спешили с ней расставаться. Даже слово-приветствие, что сохранилось от древности и до сегодняшних дней, звучит: “Хайре!” — “Радуйся!” А ведь приветствие — главное слово в любом языке, это, можно сказать, девиз и программа народного существования*.

IV

Нафплион. Микены: архаика. “Скелеты в шкафу”. Греческая кухня. Гроза над Лаконией. Роковой выбор Спарты. Лягушки Олимпии.

Городок Нафплион, недолгое время бывший даже столицей Греции, запомнился византийскими бастионами, зарослями цветущих кактусов у стен цитадели, маленькой крепостью Бурджи посередине гавани — и печальной историей Иоанниса Каподистрии. Некогда русский министр, а затем первый президент освобожденной от турок Греции, он был убит спецслужбами Анг-

*Для сравнения, вспомним приветствие американцев: “How do you do?” — то есть, буквально, “как ты обделываешь свои дела?”

лии – так как его политика сближения Греции и России была костью в горле для тогдашней Европы.

За Нафплионом – Микены. Это архаика, это эпоха Троянской войны – это то, что даже и для Гомера было седой, легендарною древностью. Но поражает здесь, в городе древних царей Арголиды, даже не циклопически-мощные стены, не львы над воротами – поражает жестокость, какой полна была жизнь ахейцев. Вот, к примеру, история семьи Агамемнона, вождя греков во время Троянской войны. Его отец Атрей, невзлюбив родного брата, велел убить его детей, изжарить их и подать брату на ужин. Неплохое начало. Сам Агамемнон, отправляясь воевать Трои, приносит в жертву собственную дочь, Ифигению: удача военного предприятия ему явно дороже. Война прошла, в целом, успешно; но жена Агамемнона, Клитемнестра, не может простить мужу смерть дочери. И, когда утомленный муж-победитель вернулся в Микены и пошел в баню, чтоб смыть пот и кровь многотрудной войны – Клитемнестра приказывает слугам зарезать его. Тут уже возмущаются ее дети, Орест и Электра – и, в свой черед, мстя за отца, убивают мать. Может, кровавое месиво длилось бы дольше – но тут вмешиваются сами боги, судят Ореста (кстати, оправдывают его) – и останавливают побоище.

Это, конечно же, миф. Но миф лишь сгущает реальность – а сами сюжеты, характеры мифа рождаются в жизни. Так что у древних греков, при всей гармонической светлости их взгляда на мир, хранилось немало скелетов в шкафу. Греческой жизнью управлял, в сущности, ужас – ужас перед неотвратимостью смерти и перед тяжелою поступью рока. В том мраке и ужасе, что караулил за дверью любого жилища, стоял за спиною любого из греков, еще не было видно просвета – весть о Спасителе не была еще возведена, – и поэтому так безнадежны финалы всех греческих мифов.

Но, с другой стороны, поэтому так безудержно-веселы Дионисийские гульбища, так громки крики “Эван, эвое!”, поэтому реки вина омывают античную жизнь, и звенят стрелы Эрота... У греков все так наполнено жизнью, весельем и пляской, как будто действительно люди живут накануне последнего, Страшного дня. Почти как у нас, в нашей русской припевке:

*Эх, пить будем,
Гулять будем,
А смерть придет —
Помирать будем!*

Осмотр микенских развалин немало нас утомил, и обед в придорожной таверне был как раз кстати. Что сказать о греческой кухне и о местных напитках? То, что подают в качестве аперитива – местная водка “узо” – так пахнет анисом, что больше походит на детскую микстуру от кашля. Вино же “рецина”, то, которое должно пахнуть смолой, на деле так часто отдает плесенью, что не стоит даже своей невысокой цены. Так что если бы не подвернулась, несколько дней спустя, пара бутылок довольно приличного критского белого – я бы сказал, что на родине Диониса пить, увы, нечего.

Из еды же вкуснее всего показались кальмары. Обжаренные в оливковом масле до золотистой корочки и обрызганные лимоном, по вкусу они – нечто среднее между рыбой и курицей. Впрочем, в классической Греции морепродукты редко попадали на стол; хлеб, оливки и сыр – вот чем жили греки. И, судя по всему, обжорство у эллинов не поощрялось.

Мы, увы, непохожи на них: осоловевшие от обильной еды, мы едва добрались до автобуса и попадали в кресла. Под гул мотора мне удалось минут сорок вздремнуть. Когда я очнулся – мы, горными перевалами, пересекали север Лаконии. Вон там, к югу – Спарта, земля величайших в истории воинов. Как по заказу, небо завалили грозные тяжелые тучи – может быть, для того, чтобы мы ощутили, насколько суровой была жизнь спартанцев. В сущности, это была непрерывная подготовка к одному-единственному событию: славной смерти в бою.

Община спартанцев походила на военизированный монастырь: все, от царя до последнего воина, жили скудно, питались из общих котлов (“Лучше смерть, чем такая еда!” – воскликнул один из персидских царей, попробовав чечевичную похлебку спартанцев), отвергали вино, а с женщинами сходились лишь по необходимости, в целях рождения будущих воинов.

Спарта была антиподом Афин. Удивительно, как один и тот же народ, говорящий на одном языке, почитающий общих богов – мог так раздвоиться, что создал как бы две, совершенно различные, цивилизации. Недаром Афины и Спарта так упорно и непримиримо враждовали между собой: гражданские Пелопонесские войны, которые истощили все силы эллинов, были столь же бессмысленны, сколь неизбежны. Афины делали ставку на личность, а Спарта – на подавление личности: так, уже на заре человечества, был поставлен великий социальный эксперимент, результаты которого, к сожалению, никого и ничему не научили.

И я думаю, что афиняне, как это ни странно звучит, были все-таки мужественнее спартанцев. Ибо они выбрали жизнь, со всей ее сложностью, смесью трагизма и радости – и несли, как могли, ее груз на своих человеческих хрупких плечах. А спартанцы – те выбрали смерть. Убоявшись живой, многотрудной, изменчивой жизни, не решившись взвалить на себя ее горестный груз, они жизнь упростили, облегчили и оскопили... Пусть простит меня тень царя Леонида и тени всех прочих героев-спартанцев – но достойно прожить свою жизнь все же много трудней, чем героически погибнуть в бою.

Спарта уже позади – мы успели уехать из-под висящей над перевалом грозы – и нас ждет Олимпия. Это деревня, в которой зимою живет восемьсот человек; но сейчас разгар сезона, и Олимпия превратилась в разноязыкий, кишачий туристами, город. Подробно осматривать место рождения спорта мы будем завтра – остаток же дня мы потратим на то, чтобы заселиться в отель, принять душ и поужинать, а потом, уже в сумерках, сидя на лавочке перед отелем, выпить вина да послушать лягушек. Они так переливчато, нежно поют в тростниках у реки, протекающей мимо Зевесовой рощи, что иные туристы уверены: это певчие птицы. “Is it a night birds?” – спрашивает меня словоохотливая англичанка-старуха, состоящая из кожи, костей и соломенной шляпки. “No, mam, it’s a night frogs”, – отвечаю я ей с церемонным поклоном...

V

Утренний зной. На родине спорта. Руины и стадион. Забег на один стадион. Метафизика спорта: беседа Сократа и Гиппогона.

Еще только восемь утра – а уже жарко. Перед отелем жужжит газонокосилка, и от этого раннего зноя, от жестяного зудящего звука голова плывет так, словно ты выпил за завтраком не две чашки кофе, а бутылку вина.

День начался с осмотра святилища Зевса. Пока здесь пустынно, но с каждой минутой народ прибывает: скоро здесь будет так же многолюдно, как и в дни древних Олимпиад. В сущности, тогда здесь было почти все то же самое, что и теперь. Запах сосен, нагретых утренним солнцем; звон цикад; бормотание горлинок; шарканье сотен подошв по нагретым камням – тем самым камням, по которым ходили и древние греки. Развалины храмов? Но тогда храмы строились, нынче их реставрируют: и в том, и в другом случае зритель видит столбы мраморных колонн, над которыми бледно синее небо. В целом, видеоряд почти одинаков. Так что можно сказать, что античность жива и поныне. А уж то, что придуманный греками спорт сейчас так популярен – еще более приближает нас к древним.

Согласитесь: спорт надо было именно изобрести, надо было придумать его – как придумали колесо или паровую машину. Когда, вместо того, чтобы проламывать друг другу черепа дубинками, люди стали соревноваться в силе и ловкости – человечество сразу шагнуло на иную ступень. А уж для греков-то, так и подавно: Олимпийские игры (основанные, по преданию, самим Гераклом) были тем, что сплотило весь эллинский мир и сформировало греков как единую нацию.

Первым, и долгие годы единственным, видом античного спорта был бег. Бегали один стадию, 192 метра: в почете был именно спринт. Даже тогда, когда состязания стали проводиться и в прыжках, и в метаниях, и в кулачном бою – главным олимпийником все равно считался победитель-бегун: его именем и называли Олимпиаду. Мне, бегуну в прошлом, узнать это было приятно.

Эвтимеос проводит нас мимо обломков колонн, лежащих грудками, словно серые барабаны, и подробно рассказывает, где чье святилище было — здесь Зевса, здесь Геры — но мне-то, понятное дело, не терпится выйти на стадион. Проход на него называется “криптой”. Ее арка ненадолго набрасывает на нас тень — и вот мы оказываемся на огромном и пыльном пространстве, лицом к лицу с жарко пылающим солнцем. Когда-то трибуны ревели, встречая атлетов; теперь — тишина. Одни лишь зеленые ящерики мелькают на склонах, покрытых чахлой травой. Порою потянет горячим, сухим ветерком — и зыбкое марево задрожит, словно солнечный студень...

Вот линия старта: скользкая мраморная плита. Колодок еще не придумали, и стартовать было трудно — тем более, что за спиной стоял судья с хвостостиной, который стегал нарушителей правил. Впереди, в пыльном мареве, дрожат столбы финиша.

Эвтимеос предлагает нам пробежать взапуски: он даже приготовил оливковый венок для победителя. Вот уж не думал, что мне придется когда-нибудь стартовать на стадионе в Олимпии. Склоняюсь к мраморной линии старта — Эвтимеос машет рукой — и ноги, которые все-таки помнят былое, начинают вжимать меня в вязкий утренний зной. Не ожидал, что будет так тяжело. Ноги быстро зачугунели — а столбы финиша, как заколдованные, не приближались. Пришлось потерпеть. Зато, падая грудью на финиш, я ощутил свою близость к древним атлетам: азарт напряженного бега соединил нас, как мост длиной в тридцать веков.

О спорте я могу говорить очень долго. Но уместнее не предаваться спортивным воспоминаниям — они, как правило, интересны только рассказчику — а привести некий текст, который навеяло мне созерцание роц и руин Олимпии. Попробуем порассуждать о метафизике спорта, изложив мысли именно в греческом стиле — в форме сократического диалога. Представим себе Сократа, гуляющего в тех же примерно местах, где происходило действие знаменитого диалога “Федр” — и представим, что он повстречал бегуна (назовем его “Гиппогон”, то есть “рожденный конем”), который, готовясь к олимпиаде, только что бежал по знойным холмам близ Афин.

Г и п п о г о н (*отирая пот*). — Хайре, Сократ!

С о к р а т. — Хайре! Прекрасное вижу я зрелище!

Г и п п о г о н. — Что ж в нем прекрасного? Я весь в поту и в пыли — мне стыдно, Сократ, что ты меня видишь таким.

С о к р а т. — Я вижу сейчас победителя — а победитель прекрасен всегда, даже если он пахнет потом.

Г и п п о г о н. — Ты смеешься, Сократ? Напротив, мне кажется, что я занимаюсь бессмысленным делом — в то время, как прочие граждане заняты чем-то действительно важным. Один строит храм, другой обсуждает законы, третий торгует, приумножая тем самым богатство Афин, — один я, словно проклятый, бегаю тут по жару...

С о к р а т. — Разве прославить Афины на Олимпиаде — это не важно?

Г и п п о г о н. — Но беда в том, Сократ, что мне так и не удалось выиграть. На прошлой Олимпиаде Меандр из Коринфа обошел меня на два локтя — и на будущей, чувствую, мне тоже не стать победителем. До сих пор болит раненая нога. Проклятый спартаец пробил ее копьём — в том бою, помнишь, Сократ, когда мы отступили?

С о к р а т. — Как не помнить — ты храбро сражался...

Г и п п о г о н. — Храбро, не храбро — но победителем, чувствую, мне уже не бывать. Я бегаю здесь по какой-то странной привычке — и сам порою стыжусь того, что я делаю.

С о к р а т. — Нет, клянусь Зевсом, ты все равно — победитель! И то, что ты делаешь — может быть, самое важное дело на свете.

Г и п п о г о н. — Опять ты смеешься! Ох, Сократ, до чего же ты любишь высмеивать наши людские пороки...

С о к р а т. — Люблю, это верно. Но с тобой, Гиппогон, я говорю совершенно серьезно. Я действительно вижу в тебе победителя — и берусь сейчас это тебе доказать.

Г и п п о г о н. — Докажи! Может быть, это и впрямь мне поможет поверить в себя.

С о к р а т. — Хорошо. Но сначала давай-ка присядем. Клянусь Гэрой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а верба здесь

прекрасно разрослась, дает много тени... Да и этот прекрасный родник, что пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, вот можно ногою попробовать...

Гиппогон. — Да, хорошо отдохнуть здесь, в тени, после бега... Ты знаешь, Сократ, я дважды сегодня добежал до Пирея, вернулся обратно, а потом еще бросал камни, чтоб укрепить грудь и спину.

Сократ. — Осталось укрепить твою веру в себя. Итак, начинаем: я буду спрашивать, ты — отвечать. Вот скажи мне: цель жизни — благо, не так ли?

Гиппогон. — Конечно.

Сократ. — И все мы должны стремиться к нему?

Гиппогон. — Разумеется, да.

Сократ. — Но раз мы стремимся к благу — и правильно делаем — значит, сами-то мы, как мы есть, благом в достаточной степени не обладаем?

Гиппогон. — Конечно. Иначе зачем бы стремиться к тому, что у нас уже есть? Разве сытый стремится к еде, а тот, кто насытился женщиной — к женщине?

Сократ. — Прекрасно! Вижу, что разум твой так же крепок, как и твои знаменитые ноги. Правда, я мог бы заметить, что, скажем, пьяница будет стремиться к вину тем сильнее, чем больше он уже выпил; а, например, алчный богач никогда не утолит свою жажду богатства — но это побочное рассуждение слишком нас отвлечет.

Гиппогон. — Тем более, что мы говорили о благе — а вряд ли является благом опьянение или богатство само по себе.

Сократ. — Отлично сказано, о Гиппогон! Но — ближе к делу. Значит, если мы, люди, благом в достаточной степени не обладаем и к нему лишь стремимся — значит, мы несовершенны?

Гиппогон. — Ну да. Совершенны лишь боги.

Сократ. — А что же является причиной нашего несовершенства? Я хочу сказать: лежит ли эта причина внутри нас самих — или она находится где-то снаружи?

Гиппогон. — Ясное дело, причина несовершенства — внутри. Разве этот вот платан, или этот ручей, или те два орла, что парят в вышине? — разве они виноваты в том, что я несовершенен?

Сократ. — А то, что внутри нас — это мы сами, не так ли?

Гиппогон. — Разумеется, так.

Сократ. — Значит, причина несовершенства — мы сами?

Гиппогон. — Конечно, а кто же еще?

Сократ. — Но, с другой стороны, раз мы стремимся к благу, то есть к совершенству — значит, мы что-то знаем о нем?

Гиппогон. — Конечно. Как можно стремиться к тому, чего вовсе не знаешь?

Сократ. — Значит, какую-то часть себя мы все же соприкасаемся с благом и совершенством — мы, так сказать, находимся с ним в некотором родстве?

Гиппогон. — Видимо, так. Чтобы иметь о чем-либо понятие, надо нести в голове или сердце образец самого предмета понятия — иначе этот предмет не сможет тебя ни заинтересовать, ни чем-либо привлечь.

Сократ. — Ты рассуждаешь, как настоящий философ. А теперь будь внимателен, ибо мы приближаемся к самому главному. Выходит, что мы, люди, в одно и то же время и совершенны, и несовершенны. Точнее сказать, мы совершенны по некоей идее, которая вложена в нас, — а несовершенны по степени воплощения этой идеи в реальности.

Гиппогон. — Клянусь Зевсом, ты прав! Еще Фидий — а я хорошо его знал — говорил мне, что даже самая удачная статуя не выходит из-под его резца столь же прекрасной, какой он себе ее представлял.

Сократ. — Что ж, удачный пример. Выходит, ты сам признаешь, что мы сложены из противоположных начал, из совершенства и несовершенства?

Гиппогон. — Да, это так.

Сократ. — И мы должны, стремясь к благу, опираясь на то совершенство, что в нас уже есть — бороться с собственным несовершенством?

Гиппогон. — Твое рассуждение безупречно, Сократ.

Сократ. — То есть наш главный противник — мы сами?

Гиппогон. — Конечно.

Сократ. — И труднее всего победить именно самого себя?

Гиппогон (*смеясь*). — Да, пожалуй, что так: уж больно это назойливый и неотступный соперник...

Сократ. — Ну, а если все-таки человеку удалось одолеть свою трусость, лень, похоть, усталость — разве он тогда не победитель?

Гиппогон. — Клянусь Зевсом, да!

Сократ. — И победитель серьезнейшего, может быть, самого главного своего врага?

Гиппогон. — Выходит, что так.

Сократ. — Так что ж ты тогда удивился, когда я назвал тебя победителем? Ведь ты, невзирая на боль старой раны, на зной, на усталость — четырежды покрыл расстояние от Афин до Пирея и потом еще бросал камни, укрепляя спину и грудь! Укрепил ты, скажу тебе, прежде всего свою душу. А о душе-то нам всем надлежит заботиться в самую первую очередь.

Гиппогон. — Получается, бегая тут по жаре, я занимался не такими уж пустяками?

Сократ. — Напротив: ты делал важнейшее дело! Еще скажу тебе, о Гиппогон, свою давнюю мысль. Улучшить себя самого гораздо труднее, чем изменить окружающий мир. Посмотри: даже боги, сокрытые в тучах Олимпа и способные вызвать то землетрясение, то наводнение или грозу, то ужасную засуху — то есть способные изменить все, что есть на земле — самих-то себя, хоть они и бессмертны, не могут никак переделать. Зевс остается все так же падох на женские прелести, Гера все так же ревнива и мстительна, Гермес — трусоват, Афродита все так же наставляет хромому мужу рога с грубияном Аресом — иными словами, бессмертные боги не могут улучшить самих же себя. А вот мы, люди, как мы порой ни ничтожны, ни слабы — победить себя можем. Выходит, мы в чем-то сильнее богов.

Гиппогон. — Не богохульство ли это, Сократ?

Сократ (*задумчиво*). — Может быть, может быть... Но я чувствую, Гиппогон, что мой долг — рассуждать о различных вещах, не пугаясь итогов своих рассуждений. Иначе я был бы подобен трусливой кобыле, боящейся собственной тени: ведь это смешное и жалкое зрелище, правда?

Гиппогон (*вздыхая*). — Ох, Сократ, как бы не повредил тебе твой удивительный ум...

Сократ (*улыбаясь*). — Не хочешь ли ты, Гиппогон, стать еще и прорицателем — помимо того, что ты первый в Афинах бегун и почти готовый философ?

Гиппогон. — Ну, куда мне...

Сократ. — И еще, напоследок, скажу тебе, о Гиппогон. Опасайся людей, призывающих изменить мир, — и верь людям, стремящимся изменить самих же себя. Наилучшие изменения — это изменения нравов, смягчение душ, а вовсе не те перемены, к которым так часто нас призывают политики. Сделай лучше себя — и весь мир станет лучше.

Гиппогон. — Я постараюсь, учитель!

Сократ (*смеется и машет рукой*). — Ну, какой я учитель! Я просто философ — я просто люблю рассуждать о различных вещах...

VI

Патры: собор Андрея Первозванного. Вантовый мост Рио-Антирио. Путь над Коринфским заливом. Сервантес и Байрон. Оливы. Парнас. Вечерние Дельфы.

После обеда в Олимпии наша цель — Патры. В этом городе был распят Андрей Первозванный, святитель Руси. Вот главное, что соединяет Россию и Грецию: православная вера. Религия занимает весомое место в сегодняшней греческой жизни: 98% греков считают себя православными христианами, а действующих монастырей и скитов в Греции — около тысячи! И это в стране с населением, чуть превышающем 11 миллионов человек; легко подсчитать, что на каждые одиннадцать тысяч жителей приходится один монастырь.

Конечно, важнейшей причиной серьезного отношения греков к религии является то, что Греция есть форпост христианского мира перед лицом исламского Востока. Право быть христианами греки пострадали: четыреста лет османского ига, героическое восстание против турок в девятнадцатом веке, гражданские войны и “малоазиатская катастрофа” двадцатого века — какая еще страна, кроме России, имеет столь же трагическую историю?

Собор Андрея Первозванного в Патрах большой и нарядный. В глаза бросаются два основных отличия греческих храмов от наших: во-первых, у греков посреди храма сиденья, что нам непривычно, и, во-вторых, свечи горят не в самом храме перед иконами, а в притворе, налево от входа, в длинном жестяном коробе с песком, и ставят их там вперемешку, и за здоровье, и за упокой.

В соборе хранится череп апостола Андрея и обломок креста, на котором он был распят. Стоя в очереди желающих приложиться к святыням, мы долго ждали, пока женщина в красной кофточке встанет с колен и, отворачивая заплаканное лицо, отойдет, уступая нам место.

Рядом с храмом — пещера с источником. Именно здесь, в I веке, был распят Андрей Первозванный. Живая память об этом событии и о кресте, на котором святой принял смерть, — русский Андреевский флаг.

За Патрами — вантовый мост Рио-Антирио, один из красивейших мостов мира. Мосты вообще — рукотворное чудо, это именно то, чем человек дополняет творение Божье. Только представьте, сколько на свете мостов: от простого осклизлого бревнышка, переброшенного через канаву, от какой-нибудь гати через болотину до грандиозных созданий человеческой мысли и рук, до инженерных шедевров, выражающих лучшее, что есть в человеке: его созидательное, объединяющее, преобразующее природу начало.

Четыре опоры и тросы, которые держат полотно моста Рио-Антирио, издавна так изящны, что кажутся карандашным эскизом — на просини бледного неба. А въезжаем на мост — как взлетаем над морем: под нами, сверкая на солнце, бежит синь густых ионических волн.

И все здесь, как и везде в Греции, дышит живым ощущением истории. Вон в той бухте, близ городишка Нафпактос, в бою с турецкой эскадрой Сервантес потерял левую руку. Хорошо, не правую: а то как бы он писал “Дон Кихота”?

А вон там, за поворотом дороги — крыши Месолонги, города, где в дешевой гостинице умер Байрон. Говорят, он в предсмертной тоске произнес, глядя на жалкие стены гостиничной комнаты: “Или я — или эти обои...” — и умер. Что ж: обои — то есть мелочный быт, убивающий душу, — могут быть постыдней, чем турецкие сабли.

Живописен путь над Коринфским заливом: внизу справа море, синь его бухт, островки, на которых белеют рыбацкие домики, — а по сторонам от дороги плывет бледная зелень оливок. Нам, русским, трудно понять, что же такого греки находят в этом зеленоватом плоде, похожем на недозрелую сливу. Оливки составляют не просто основу греческой кухни — но являются национальной святыней. Видимо, надо быть греком, надо вырасти вот на этих холмах, напиться аттическим зноем — чтоб маслянисто-пряный вкус здешних оливок стал бы вкусом самой этой земли, стал осязаемым символом родины. Мне же приятнее было не есть, а смотреть на оливы, на их коренасто-тугие стволы, узловатые сучья и бледную зелень, на всю их библейскую, древнюю мощь. Многим деревьям здесь лет по пятьсот; и как тут не вспомнить, что первую весть о спасении от потопа, которую голубь Ноя принес на ковчег — была именно ветвь оливы?

Миновав городишки Итея и Хриссо, по серпантину горной дороги мы стали подниматься выше и выше. Бледно-зеленое море оливок оставалось внизу. Эвтимос, показав рукой вперед-вверх, сказал: “А вот это — Парнас”.

Как сильно действие звуков! С туго бьющимся сердцем я прыкнул к окну и стал жадно глядеть на хребет, по склону которого, напряженно гудя, поднимался автобус. Неужели вот эта гора, с виду точно такая же, как и остальные — и есть знаменитый Парнас, обиталище муз? Мы все ближе и ближе к вершине мифической этой горы — а ее контур все более четок и строг на черном, уже розовеющем, небе...

О том, что мы на Парнасе, я помнил весь вечер. И тогда, когда мы заселялись в отель “Курос”, и когда шли ужинать в ресторан, с веранды которого открывался торжественный вид на долину и на вечернее море, и когда мы,

уже возбужденно-хмельные, катались по ночным улицам Дельф на смешном автопоезде – а темный массив легендарной горы возвышался над нами, сливаясь с тьмой теплой греческой ночи.

Даже утром, когда я проснулся от грохота мусоровоза под нашим окном – он, со звоном и скрежетом, сыпал в свой кузов содержимое уличных мусорных баков, – то первое, что я подумал: “Боже мой, я – на Парнасе!” Ибо где еще самый будничнейший звук – звон бутылочных стекол и шорох пакетов – воспринимается как авангардная музыка, как бодрящий и радостный гимн наступавшему дню?

VII

Кастальский источник. Омфалос. Храм Аполлона и пифии. Перекресток Эдипа и Лая. Фермопилы. Цыгане. Ливень в долине кентавров. Поселок Каламбаки.

После завтрака выезжаем к святилищу Аполлона. Первая остановка – Кастальский источник. Пока мы все шли за Эвтимисом, я вспоминал Пушкина:

*В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробилась три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный
Кипит, бежит, сверкая и журча;
Кастальский ключ водою вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит;
А третий ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит...*

Но, увидев сам Кастальский источник, впору было расхохотаться: вот так символ! Пробившись из склона Парнаса, струя воды протекает по каменистому желобу – и проваливается сквозь ржавую решетку канализации. Да, печальна судьба вдохновения: родившись от чистых парнасских снегов – кончиться сточной канавой. . .

От источника дорога ведет вверх, к святилищу Аполлона. Подниматься по склону Парнаса легко: утренний Гелиос нас покуда щадит. В кронах сосен и кипарисов копошатся сойки и дрозды; цикады уже начинают потрескивать, обещая палящий безоблачный день.

Подходим к о м ф а л о с у, пупу земли. Греки считали этот серый выпуклый камень мировым центром: на географических картах они помещали омфалос точно посередине всей Ойкумены. Что ж, великая цивилизация и должна начинаться с того, что она сознает себя центром, всемирной точкой отсчета. Это наивно и мудро одновременно; так и каждый из эллинов мог бы сказать про себя: я – пуп земли, я – “мера вещей”, и все, что есть в мире – всего лишь мое окружение. Культура Греции тем-то и уникальна, что в ней человек был впервые поставлен в центр мира, объявлен важнейшей и глубочайшей тайной – и все мироздание оттого обрело, так сказать, человеческое лицо.

Далеко не о каждой цивилизации можно сказать то же самое. Например, мифология древней Японии, объясняя происхождение мира из тела заснувшего исполина – из волос его, дескать, произошли леса, из коленей – горы etc. – толкует, что люди возникли из вшей, ползавших по волосатым подмышкам гиганта. Понятно, что отношение к человеку, возникшему таким образом, будет не слишком-то трепетным: вошь, она и есть вошь, чего с ней церемониться?

В Греции было иначе. “Познай самого себя” – было выбито на стене Дельфийского храма, и все великие мудрецы античности, во главе с Сократом, не уставали твердить, толковать, воплощать это главное правило греческой жизни. “Познай самого себя” – вот путь и цель человека, вот где кроется главная тайна всего бытия. Но это же значит, что каждый из нас есть бездонный и неисчерпаемый Космос. Это значит, что личность священна и что человек не может быть превращен в средство для достижения каких бы то ни было, пусть даже самых благовидных, задач.

Все по очереди кладут руку на темя омфалоса и загадывают желание. Сразу видно, что мы – европейцы. Любой правоверный буддист осудил бы нас: желание, сказал бы он, порождает страдание. Неужели мы мало страдали? Выходит, что мало...

Как ни смешны эти детские игры с загадыванием желаний – они вызывают томление сердца. Спросите себя: чего вы хотите? Ответить на этот вопрос – все равно, что ответить: зачем я живу? И вообще, хочу ли я, чтоб исполнилось то, чего я желаю? Ибо чем меньше впереди нас осталось несбывшегося – тем меньше осталось и жизни.

Вот и храм Аполлона – сердце Дельф, центр античного мира. Теперь здесь одни только серые плиты да обломки желобоватых колонн. А когда-то вот именно здесь, на золоченом треножнике, сидела девушка-пифия, дышала ядовитыми газами, поднимавшимися из щели в скале, – чтобы после, в угаре экстаза, бормотать возбужденно-невнятные речи. Это и было, как верили эллины, гласом судьбы. Люди вообще не могут жить без предсказаний: недаром же к разного рода прогнозам, от метеорологических до астрологических, мы до сих пор питаем неугасающий интерес. А красotka, которая что-то вещает с экрана – чем не дельфийская пифия? Чем меньше в ее предсказаниях смысла, ума – тем, бывает, сильнее шаманское это камлание влияет на души.

Солнце все выше, и зной все густеет. Кажется, если постоять на припеке, тепловый удар неизбежен: взгляд поплывет, мысли спутаются, и забормочешь бессвязную чушь – не хуже, чем древняя пифия. Поэтому жмемся в тень кипарисов и уж оттуда, сквозь мреющий воздух, смотрим то вверх, на парнасские скалы и сосны, то вниз, где когда-то, в лесистом разломе ущелья, сраженный стрелой Аполлона, *“клубясь, издох Пифон...”* Виды здесь величаво-торжественны – как торжественны и руины храмов, их посеребривший от времени мрамор, по которому, словно живые прожилки, порой пробегают зеленые ящерки. Может быть, и хорошо, что здесь больше нет толчеи изваяний, колонн – что обломки кумиров вынесены в музей, расположенный неподалеку. Есть палящее солнце, есть горы и древние камни святилищ, есть сухой звон цикад, который здесь кажется даже древней, чем само время, есть нежный стон горлинок – и все это, взятое вместе, создает строгий образ некрополя, кладбища самой, быть может, прекрасной из человеческих цивилизаций. А всего удивительней то, что ее образы, мифы, предания продолжают жить до сих пор. Здесь, в Греции, остро чувствуешь, насколько античные мифы вошли в твою личную память и стали как бы воспоминаниями твоей собственной жизни.

В тот же день, уже после обеда, мы ехали по-над глубокому оврагом, по склону горы – как вдруг проводник показал: “Видите тот перекресток?” Мы посмотрели налево. По дну оврага, действительно, распластались две пыльные дороги. Там, где они пересекались, стоял сарай из ракушечника, паслись козы, росло несколько чахлах олив. “Так вот, – продолжал Эвтимийос, – на этом перекрестке Эдип убил своего отца, Лая”.

Надо же: в этом вот затрапезе, в пыли двух унылых дорог, завязался не просто один из классических сюжетов литературы, но был стянут тот узел, который (с подачи Зигмунда Фрейда) ныне считается одним из важнейших узлов человеческой психики! Именно здесь вздорный старик вытянул плетью ни в чем не повинного незнакомца – а Эдип, не стерпев, взмахнул посохом, и Лай упал мертвым... Перекресток Эдипа давно уже скрылся из глаз, а я все думал об этой истории, о бессмертии мифа – и о том, что лишь мифами, в сущности, мы и живем. Нам претит голая правда, как она есть, нам отвратителен мир, состоящий из одних только фактов. Из жизней, которые мы с вами живем, из их достоверно-фактической сути – мы стараемся сотворить некие мифы, стараемся что-то придумать, домыслить, досочинить: страсть к мифотворчеству живет в нас неистребимо. Иными словами, мы пытаемся стать из тех, кто мы есть – персонажами мифа о собственной жизни.

А уж здесь-то, в Элладе, этой всечеловеческой фабрике мифотворчества – встречаешься с мифами буквально на каждом шагу. Вот и теперь мы подъезжаем к очередному мифу: впереди “Термо-пилас”, “горячий проход” – или Фермопилы, как нам привычнее говорить. История трехсот спартанцев, остановивших неисчислимое войско персов, стала любимой историей мальчишек всех стран и народов.

А что было на самом-то деле? Историки доказали, что греков при Фермопилах было гораздо больше, чем триста – их было семь тысяч. Их героизма

и славы это, конечно, не убавляет – Фермопильская битва все равно остается знаменитейшей битвой в истории войн, – но это обнажает жестокие правила мифотворчества. Сколько теперь ни доказывай – в человеческой памяти все равно будут жить только триста героев: так эффективнее, так ближе к сказке и чуду.

Интересно, что греки, пытаясь восстановить справедливость, к установленному некогда памятнику царю Леониду и его личной гвардии уже в недавние времена добавили еще один памятник, мужской крылатый торс – чтобы почтить остальных павших героев. Но даже и этот благородный жест вряд ли внесет изменения в миф, что сложился веками: героев останется триста.

Теперь там, где гремело сражение, пыльный пустырь. Рядом – афинская трасса, за ней, вдаль – море (оно отступило за две с половиною тысячи лет); горные склоны, поросшие лесом – те, которые не позволили персам развернуться во всю свою силу, – непрístupными вовсе не кажутся. Неподалику горячий источник: возможно, сам Ксеркс принимал здесь горячие ванны.

Полезли в источник и мы. На горячих камнях, на их рыжей слизи легко поскользнуться; в ноздри бьет резким запахом сероводорода. Не сказать, чтобы все это было очень приятно. Кое-как примостившись под льющим сверху потоком горячей воды, пытаюсь расслабиться и получить удовольствие. Но ничего не выходит: здесь зловонно, томительно, душно. Но зато, говорят, эти воды целебны – так что будем считать, что мы вылезли помолодевшими.

Дорога ведет нас на север и поднимается на перевал. По сторонам – виноградники, рощи олив; вдаль видно море. Похоже на наш Крым, только все как-то крупнее, размашистей: горы повыше, долины пошире. Но характер ландшафта такой же: земля камениста, суха – много солнца и мало воды. К середине лета зелень во многих местах выгорает, и холмы Греции, как и холмы Крыма, приобретают цвет древнего, выцветшего манускрипта: рыже-красно-коричневый, христо-бледный, волнующий душу своей благородной печалью. Да, это похоже на очень древнюю рукопись – только писал ее не человек, а Господь. . .

Направо от выходящей серпантинной дороги – поселок цыган. В придорожной пыли, где нет ни единого деревца или куста, друг к другу лепятся фанерно-картонные будки. Их входы завешены рваной полиэтиленовой пленкой, ветер взметает мусор, собаки и дети гоняются друг за другом в пыли – и все это зрелище жизнерадостной нищеты ужасает и восхищает одновременно. Здесь, на древнейшей земле, колыбели всечеловеческой цивилизации – табар цыган выглядит словно насмешка над достижениями этой самой цивилизации. Веселые эти цыганки, трясущие пестрыми юбками, эти смуглые неугомонные дети, швыряющие вслед автобусу камешки, эта вся жизнерадостно-пестрая жизнь словно нам говорит: ну, и что? И чего вы добились, создавая все ваши культурные ценности, строя дворцы, города, расширяя границы империй, диктуя законы и совершая открытия, покаяя природу и убивая друг друга в бесчисленных войнах? Может быть, вы теперь счастливы? Что-то не очень похоже: посмотрите-ка на самих себя в зеркало. Вы бледны и чахлы, унылы и озабочены, вы почти разучились смеяться и быть благодарными жизни. Если в вашем автобусе вдруг поломаются кондиционер, или на электронных табло ваших бирж вдруг изменится несколько цифр – вы же впадете в отчаянье, вы начнете горстями пить транквилизаторы и побежите к психоаналитикам, а кое-кто из вас даже попытается наложить на себя руки. Хороша же ваша цивилизация! А вот мы, цыгане, прожившие бок о бок с вами все эти тысячи лет – мы ничего не строили, но зато ничего и не разрушали, мы не захватывали чужого (воровство по мелочи – это не в счет), мы не копили добра, мы вообще ни к чему земному особенно не прилеплялись – ни дома, ни родины у нас, цыган, нет – но зато мы остались живыми, и живем на земле так, как поем наши песни: с жестокой свободой, с ничем не стесненной волей. Мы – Божьи дети – и верим, что Бог не оставит своих, пусть порой и беспутных, детей. . .

Пока я так размышлял, автобус преодолел перевал, и перед нами раскинулась Фессалийская долина, главная житница Греции. Мифические кентавры родом отсюда; именно фессалийские всадники так ловко, одними ногами, могли управлять конем, что казалось: и всадник, и конь являют собою одно существо. Ныне кентавров что-то не видно – вокруг только автомобили.

Едва мы спустились в долину, как нас прихватил грозовой ливень. За окнами все помутнело, и дорога вскипела грязно-белыми пузырями. Зажглись фары машин. Эвтимос возбужденно воскликнул: “Зевс приветствует нас!” Чернильное низкое небо нервически дергалось — молнии рвали его и никак не могли разорвать — а из громокипящего кубка на нас низвергался рожкающий, влажный, тоскующий грохот грозы...

За стеной ливня проплывали поля Фессалии. Крестьяне в мокрых белых рубахах, кажется, были рады дождю. Больше всего здесь росло кукурузы; недаром и тот поселок, куда мы направлялись, назывался “Каламбака”, то есть “кукурузный”.

Зевс ярился недолго. Вот уже небо опять засинело, дождь перестал — но на северной стороне небосклона, там, куда мы направлялись, продолжали темнеть грозовые тяжелые тучи. Они были похожи на черные скалы; всмотревшись, мы поняли, что это скалы и есть. “Метеоры”, — сказал проводник. Черные скалы росли по мере того, как мы к ним приближались, и, когда мы въезжали в поселок — крыло этих мрачно чернеющих скал уже закрывало треть неба. Оно нависало над крышами Каламбаки как суровое напоминание о грозной смерти, о трагической участи каждого человека — но никто из жителей, беззаботно бродящих по улицам или сидящих за столиками кафе, похоже, не обращал никакого внимания на это грозное предупреждение. Жизнь шла своим чередом — и ей было не до того, чтобы помнить о смерти...

VIII

Иконная лавка. “Парящие” монастыри. Фрески. Античность и христианство. В винном погребе. “Суп Язона”. Новейшая история Греции. Дети у храма.

Следующий день начался с посещения иконной лавки-мастерской. Хозяин широким жестом предложил выпить вина — поднос со стаканами уже встречал посетителей, — а потом стал показывать технологию производства икон. Хлопя сусального золота закружились в воздухе наподобие сажи. На полках и на витринах икон было столько, что смотреть на все это сверканье окладов и множество одинаковых ликов было неловко: слишком уж откровенно проявлялась торговая суть заведения. Видно, затем и вино предлагали на входе, чтоб превратить посетителей — в покупателей.

Стало даже смешно, когда в смежном зале я увидел на полках не только нагих Афродит, Аполлонов и козлобородых сатиров — но и тряпичную ведьму, качающуюся на помеле. Была бы возможность и выгода торговать самим “повелителем мух”* — им бы здесь обязательно торговали.

Но вот мы садимся в автобус и едем к монастырям. “Метеоры” означает “парящие”; на каждом из каменных пальцев, направленных в небо, расположен небольшой монастырь. В восемнадцатом веке их было двадцать четыре; теперь только семь.

Метеоры называют восьмым чудом света: вид этих обителей, парящих между землею и небом, действительно поражает. Вряд ли еще где на целой планете есть место более подходящее для монастырей — то есть так вознесенное к небу и так отделенное от соблазнов земли.

Первый монастырь, который мы посещаем — женский, имени св. Христофора и св. первомученика Стефана. Крестьясь, входим в ворота и видим монашку, метущую двор. Как нарочно, она молода и красива. Кто она? И откуда? И что привело ее в эту обитель? Впрочем, читатель сам может додумать те мысли, которые возникают при встрече с красивой и молодою монашкой.

Монастырский двор невелик, но опрятен, в цветах: во всем видны женские руки. На цепях висит деревянный брус, било — чтоб созывать, когда это необходимо, сестер. Храм обители сумрачен, древен, суров. На левой стене — фреска, изображающая, как первомученика Стефана забивают камнями жители Иерусалима.

Но даже сцена казни святого Стефана бледнеет в сравнении с теми картинами пыток и казней первохристианских мучеников, которые изображены в

* Одно из средневековых имен сатаны.

притворе храма Преображения Господня – в следующем монастыре, который мы посетили. Мегало Метеора – самый древний, большой, почитаемый здесь монастырь; и от фресок в притворе его главного храма кровь леденеет в жилах. Это настоящая энциклопедия пыток и казней: тут и четвертования, и сажания на кол, и поджаривание заживо, и терзание людей львами – тут все, до чего мог додуматься подстрекаемый дьяволом ум человека. Простое усекновение главы кажется милостью и подарком судьбы.

Да, тяжело принимал древний мир ученье Христа... Гонителям христиан представлялось, что новая вера отвергает все то, чем люди жили доселе. Но в своем ослеплении злобные люди не видели, что на самом-то деле христианство спасает античность, выводит ее из мрачного и безнадежного тупика. Уже в эллинистическую эпоху, то есть начиная с походов Александра Великого, античный мир начинал вырождаться: идея империи стала преобладать над идеей свободной и независимой личности.

Рим? Но Рим почти не развивал – он лишь тиражировал то, что оставили греки. Живая культура Эллады окостенела и высохла на площадях и аренах холодного Рима. Императорский Рим – это жесткость и логика, сила, порядок; суть римского отношения к жизни выразил император-мудрец, Марк Аврелий. Он писал (кстати, по-гречески): “Жизнь – это бой, пребывание в чужой стране”. Разве мог бы истинный грек эпохи Сократа, Перикла и Аристофана сказать нечто подобное? Для эллина жизнь была все-таки праздником, радостью, *п р е б ы в а н и е м д о м а* – до тех пор, пока не иссякла та детская, необъяснимая радость существования, та священная влага Эллады, на которой выросло и расцвело чудо греческой цивилизации.

По сравнению с солнечным детством Эллады Рим был жестоким подростком: угрюмым и сумрачным, не доверяющим миру. Сама жестокость римских развлечений носила характер именно что подростковый: только подростки способны с таким холодным сладострастием мучить котят и лягушек – или наслаждаться мучениями гладиаторов.

Человечеству было пора, наконец, повзрослеть. Христос и принес миру то, что сделало нас, в полном смысле, людьми: Он принес нам любовь. Он вложил сердце в грудь бессердечного и остывавшего мира. Но жить с живым сердцем в груди было так непривычно, так больно, так страшно; поэтому те, кто боялись живого, старались его умертвить, уподобить себе – поэтому столько гонений и пыток обрушил мир на христиан.

А здесь, в храмах “парящих” монастырей, пыткам подвергнуты были даже и фрески. Жутко смотреть на выколотые, выщербленные, выжженные глаза, на ослепшие лики святых. Это постарались, уже в девятнадцатом веке, турецкие оккупанты.

Но не только трагедий полна монастырская жизнь. Мы проходим на кухню и в трапезную, осматриваем винные погреба – и душа наполняется радостью от того, какое здесь все настоящее, древнее и простое. Вот огромные бочки – вмещают до тысячи (!) литров вина – вот медные перегонные кубы и виноградные прессы, вот деревянные фляги на кожаных грубых ремнях, вот кубки и чаши, вот крючковатые посохи здешних монахов, вот крупорушки, ослиные седла, вот старинный токарный станок с ножным приводом – на таком любил поработать наш император Петр I, – атрибуты суровой и трудовой, полной истинных радостей, жизни. Я спросил: “А дают ли вино современным монахам?” Эвтимийос, чуть удивившись вопросу, ответил: “Конечно, дают – дважды в день”. “И они его, что, разбавляют водой?” – продолжал я наивный допрос. “Конечно же, нет”, – отвечал проводник.

Именно здесь, в винном погребе Мегало Метеора, я смог так почувствовать монастырскую жизнь – как будто и сам был когда-то монахом. Предметы старинного быта порой несут в себе больше духовности, чем даже иные иконы – Дух дышит, где хочет, – поэтому я не хотел уходить вот от этих корзин, прессов, бочек, от их благородной и грубой, живой простоты.

После монастырей был обед. Вкусный суп из фессалийской козы назывался “супом Язона”, по имени здешнего уроженца, который доплыл на “Арго” аж до нашей Колхиды. У ресторана – бассейн с голавлями и карпами; было забавно смотреть на их стайки, скользящие в мелкой, просвеченной солнцем воде.

Едем дальше, на юг – и боремся с послеобеденной дремой. Я бы, может быть, и заснул – но неловко: Эвтимийос рассказывает о новейшей истории Гре-

ции. Даже в сравнении с русской, такой беспощадно-кровавой, историей жизнь Греции в XX веке представляется чередой непрерывных трагедий. На долю этой многострадальной страны выпадают две Балканские войны, затем — две мировые, в которых Греция тоже принимает участие, еще две гражданские войны — а что может быть страшнее и беспощаднее гражданских междоусобиц? — затем — война с Турцией, в которой греки терпят поражение, путч “черных полковников” (чья диктатура держалась аж до 1974 года) — и, наконец, еще одна война с турками за Кипр. Грекам досталось, как мало кому; чего стоит одна “малоазиатская катастрофа” 1921 года? Тогда, в одночасье, беженцами оказалось более полутора миллионов жителей малоазиатского, исконно греческого, побережья. Об этих событиях писал их очевидец, молодой журналист Эрнест Хемингуэй. Вот несколько строк из его рассказа “В порту Смирны”:

“Трудно забыть набережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах. Впервые в жизни я шел до того, что такое снилось мне по ночам. Рожавшие женщины — это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только их уводили с мола, они уже ничего не боялись.

Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей”.

Ужасна все-таки жизнь на стыке религий, цивилизаций, культур. Это как рана, которая никогда не заживает: одно неловкое движение, один резкий шаг — и непрочный струп сорван, и вот уже рана снова сочится живою и теплою кровью...

Въезжаем в Афины. Встречный поток машин нескончаем: нынче, в пятницу вечером, все стремятся покинуть столицу. По выходным Афины пустеют наполовину; это нам, разумеется, на руку. Проезжаем Акрополь — он высится справа — а потом мчим вдоль моря, по улице имени Посейдона. Вот и наш отель “Феникс”: уже четверо суток нас не было здесь.

Солнце садится, но все еще жарко. Наскоро приняв душ, иду купить вина к ужину — и по пути захожу в небольшой храм Успения Богородицы, где еще длится вечерняя служба. Людей здесь немного, человек всего тридцать; но зато не одни лишь старушки, как это обычно у нас — много и молодых. Одна из женщин по книге читает молитвы, остальные внимательно слушают, крестятся. Все двери распахнуты, и хорошо слышно, что происходит снаружи. Вплотную к храму устроена спортплощадка, и дети, азартно крича, там играют в футбол. Вот мяч упруго ударил в церковную стену, шум игры накатил и отхлынул — но это нисколько не нарушало течения общей молитвы. Кажется, если даже мяч залетит в храм — его, с понимающей и дружелюбной улыбкой, отпасуют к играющим детям назад и продолжат молиться. Мне это очень понравилось. Хорошо, что сегодняшний день, начинавшийся в монастырях Метеор, завершается именно тем, что дети играют у храма и подтверждают тем самым, насколько жива наша общая вера.

IX

Утро. Акрополь: священные камни. Колонны Парфенона. Коры-кариатиды. Виды Афин. Музей Акрополя. Агора. Ливень. Башня ветров. Греческая свадьба. Греция и мы.

Афинское утро, купание в море. Рассвет нежно-палевый, над холмами мерцает Венера. На безлюдном пляже — собаки, вороны и голуби: все бродят неспешно, вразвалку, не обращая внимания ни друг на друга, ни на меня.

Плыву в теплой, соленой воде. Вдалеке, как картина, проходит белый теплоход с еще не погашенными ночными огнями. Светает быстро: заходил в воду я еще в теплых сумерках ночи, а выходил уже днем. Вот прошел первый трамвай в центр Афин; вот по магистрали, гудя, стали промелькивать машины и мотоциклисты — стало быть, город проснулся.

Сегодняшний день целиком посвящен Афинам. Не буду подробно описывать, как мы завтракали, как потом ехали по еще утренней, но уже жаркой

столице — а за окном проплывал то главный греческий стадион, то памятник Байрону, то площадь Синтагмы и здание университета, — а перейду сразу к главному: вспомню, как мы посещали Акрополь.

Его холм виден отовсюду. Кружа по городу, мы подбирались все ближе к нему, и громада Акрополя все вырастала над нашими головами. Возле касс, где толпится народ — много бродячих собак. Они все худы и облезлы — но, что удивительно, на каждой есть и ошейник, и бирка. “Наши священные киносы”, — шутит Эвтамиос. И вдруг понимаешь: ведь эти собаки — прямые потомки тех самых собак, что бродили здесь и при Сократе, и при Эсхиле. Они, можно сказать, несут в своих генах эстафету античности.

С уважением переступая через лениво лежащих собак, поднимаемся к Пропилеям, входу в Акрополь. Мрамор колонн, некогда белоснежный, теперь пожелтел — за тысячелетия окисляется даже и мрамор, — но этот телесный и ласковый цвет куда лучше белого: он теплее, живее.

За Пропилеями, над головами и спинами гомонящих туристов — сухой блеск античного солнца, порывы горячего ветра; а из слепящего блеска, как бы из сгущення его, вырастает символ античности: Парфенон, храм Афины Паллады. Какими словами его описать? Он слишком прост, гармоничен для каких бы то ни было слов — и выразить красоту Парфенона способен лишь только молчание. Издалека он кажется невелик, вблизи вырастает до огромных размеров; по мере того, как ты приближаешься к храму, растет восхищение благородной его простотой. “Какая ясность и какая стройность!” — думаешь пушкинскими словами, обходя ряды желтоватых колонн, над которыми бледно синее афинское небо. А когда еще узнаешь, что, если продолжить линии всех колонн Парфенона, они сойдутся в одной точке на высоте около полутора километров — то изумление перед мудростью, смелостью и мастерством древних зодчих переходит в благоговение.

При созерцании Парфенона приходит еще одна мысль. Конечно же, то, что этот храм оказался разрушен — трагедия. Когда, в XVII веке, ядро попало в пороховой склад, который турки разместили между колонн Парфенона — на воздух взлетело воистину одно из чудес света. Но не прекрасней ли, думаешь, эти руины — того, что здесь было когда-то, в ту пору, когда Парфенон был живым центром античных Афин? Мало того, что тогда храм украшало множество разных скульптур — и фронтоны, и фризы кишели обилием мраморной плоти — так эти скульптуры и даже колонны были ярко раскрашены, что, наверное, придавало всему вид вульгарно-лубочный. Не лучше ли — эта вот простота и печаль, благородная незавершенность руин?

Мысль не столь уж дика, как это может казаться. И она соответствует, в сущности, мысли Платона о том, что идеи вещей — и прекраснее, и долговечнее, чем эти вещи, как таковые. Что мы видим в руинах? Мы видим “эйдос”, идею стоявшего некогда храма — и эта вот незавершенная колоннада, этот траченный временем мрамор говорят сердцу больше, чем говорил бы, наверное, Парфенон во всем его прежнем, раскрашенно-ярком, наряде.

Выходит, не стоит уж так опасаться разрухи и тления — ибо то, что достойно бессмертия, не подвластно ни землетрясению, ни взрыву турецкого пороха? Скажем более: может быть, только разрушенный храм начинает жить в вечности?

На эту тему поговорить бы с японцем Юкио Мисимой, автором знаменитого романа “Золотой храм”. Он-то как раз и считал, что лишь смерть одаряет бессмертием, и лишь только разрушенный храм достигает того совершенства, какое в реальности недостижимо. Но Мисима, увы, так стремился к бессмертию и к совершенству, что разрушил и храм собственного тела (храм, который он так самозабвенно строил и совершенствовал всю свою жизнь) — дело кончилось тем, что Мисима сделал себе харакири...

Зной все крепчает, и бродить по Акрополю все тяжелей. Но нельзя же не посмотреть знаменитый Эрехтейон и его портик с кариатидами?

Идея, что женщины держат над головой кровлю храма, да еще и умудряются, в то же самое время, как бы и танцевать — очень нам, русским, по сердцу. Эти коры-кариатиды, со всей их спокойною статью, неяркой улыбкой, щекастыми лицами — это же русские, в сущности, бабы. А держать над головой крышу храма — задача ничуть не труднее, чем выносить нашу русскую жизнь, да при этом еще оставаться первейшими в мире красавицами.

Акрополь прекрасен не только сам по себе — он замечателен также и видами, что открываются сверху. Вон, внизу, кусты и колонны агоры, некогда средоточия торговой и философической жизни Афин; вон знаменитый театр,

где ставились драмы Софокла, Эсхила и Еврипида – в присутствии, разумеется, авторов. Когда давали аристофановские “Облака”, где в комическом виде был представлен Сократ и его школа-“мыслильня”, реальный Сократ встал со скамьи, чтобы зрители лучше видели прототип героя комедии – и, на глазах у хохочущей публики, невозмутимо простоял все представление.

Так же невозмутимо он выпил и чашу с цикутой – вон там, на склоне холма, где была афинская городская тюрьма. Сократ просидел там, в ожидании казни, целый месяц – и даже начал учиться играть на флейте. Когда же убитые горем друзья восклицали: “Ох, Сократ, и нашел же ты время для уроков музыки!” – мудрец, со спокойной улыбкою, им отвечал: “А другого времени у меня уж не будет...”

Спустившись с Акрополя, мы снова прошли Перипатом – улицей, по которой бродили, беседуя, перипатетики. Сегодня философов не было: вместо них на горячих бульжниках сидел одинокий саксофонист. Он, одурев от жары, выдувал из горящего золотом саксофона одну и ту же тягучую, знойную музыкальную фразу.

Спасением от зноя для нас стал новый, недавно открытый, музей Акрополя: там было прохладно и гулко. Античной скульптуры мы уже насмотрелись за эту неделю, и нам трудно было разделить восторг Эвтимииоса, нашего проводника – который с азартом и пылом влюбленного юноши водил нас от изваяния к изваянию. Но вот что в самом деле запомнилось, так это – коры, античные девы. Их было много, они были разного роста. Складки каменных пеплосов ниспадали со статных фигур – а на их лицах окаменел совершенно особый, невозмутимый покой. Этот тысячелетний покой изливался теперь и на нас, созерцающих каменных дев.

Как ни томил полуденный зной, мы все же пошли на агору. Что это ныне? Обширный пустырь, по которому там-сям растут акации и гранатовые деревья и видны развалины портиков. Вдали, на пригорке – руины храма Гермеса, бога торговцев. Торговать греки умели не хуже, чем философствовать; но разница меж торговашом и философом та, что даже самый успешный торговец, в конце концов, остается в проигрыше – ничего, кроме драхмы во рту, в загробную жизнь он не унесет – а философ всегда выигрывает. Как рассуждал перед смертью Сократ? Если смерть есть ничто, пустота, прекращение всего – то я рад прекращению тягот и зол надоевшей мне жизни. Если же, как мы надеемся, наши души бессмертны, то я встречу в вечности души великих людей, смогу побеседовать и с Гомером, и с Пифагором – так стоит ли мне бояться того, что, в любом случае, сулит только благо?

Пройдя каменистую пустошь агоры, миновав место “расписной стои” – именно здесь стоял некогда портик, где собирались стоики, рыцари мужества и безнадежности, – мы выходим на шумную улицу. Здесь, за столиками уличных кафе, галдят туристы со всего света – здесь кипит бесконечный, бездумный, хмельной праздник жизни.

Пока мы смотрели агору, небо стало затягивать тучами, дневной свет померк – и вот на горячие улицы шумных Афин хлынул ливень. Мостовые и тротуары как будто вскипели, потоки мутной воды понесли мусор к решеткам ливневых стоков – а среди отдыхающей публики началась веселая суматоха. Словно из-под земли выскочили мальчишки-торговцы с зонтиками и стали бойко сбывать их бегущим, нахохленным, мокрым прохожим. Зонтики шли нарасхват: что значат навыки оперативной торговли!

Ливень всех освежил и взбодрил – Афины помолодели, умывшись, – а мы зашагали по пенным потокам разыскивать Башню ветров. На тротуарах воды было по щиколотку, ноги хлюпали, и идти напрямик, через лужи, было приятно, как в детстве.

На Башне ветров следили не только за направлением и силою ветра – но наблюдали и за течением времени. Были там и солнечные часы, и водяные – они назывались клепсидра, – там непрерывно следили за тем удивительным и неуловимым, что превращает нас из детей в стариков, а из живых – делает мертвыми. Древние, видно, догадывались, что пространство и время – едины; и что, наблюдая движение ветра, то есть пространства, мы можем что-то понять и о времени, о его беспощадном и все уносящем потоке...

Башня ветров восьмигранна, груба и плечиста. На каждой из граней – изображение одного из ветров. Раздув щеки, каждый ветер, представленный в виде могучего мужа-атлета, пытается одолеть семерых своих братьев – и из этой борьбы получается то, что мы, люди, зовем так поэтически: роза ветров.

...Вечером этого долгого, полного впечатленьями, дня мы любовались греческой свадьбой. Она проходила в отеле, во двореке возле бассейна – и нам, с балкончика нашего номера, все было видно, как на ладони. Гости съехались поздно – последние подходили уже где-то к полуночи – но, что интересно, молодых с гостями не было. Молодоженов проводили до двери их номера и оставили там вкушать дары Гименей. Тем временем родственники и друзья расселись за столиками – вода бассейна бросала голубоватые блики на лица – и, тост за тостом, славили это событие. Закуски и выпивки было немного (на наш русский взгляд, столы были просто пустыми), но веселились греки от души.

Скоро начались танцы. В сухих, энергических ритмах бузюки было что-то от звона цикады. Меж столиков сделалось тесно и весело. В самом центре статная женщина в платье лилового цвета – оно ниспадало до пола навроде античного пеплоса – танцевала, кружась, плавно-медленный танец. Показалось, что я уже видел сегодня и эту округлую, полную руку, приподнимавшую над коленом подол, и рыжую эту прическу с узлом на затылке, видел эти изгибы тугого, плывущего между танцующих, тела...

Ну, конечно: красавицы-коры в музее Акрополя! Одна из них словно вдруг ожила и теперь танцевала с гостями. В ее плавных движениях и поворотах, в обнаженной руке, что держала пурпурную розу, во всей пластике женского тела выражался живой дух античности – и мы зачарованно, долго следили за танцем ожившей кариатиды...

P. S. Так уж случилось, что, спустя всего месяц после греческого путешествия, я оказался на русском Севере. Казалось, вот только что я сидел на палубе “Царицы Небесной” и любовался на острова Эгейского моря – и вот я снова на палубе, снова смотрю, как мимо плывут острова, и горластые чайки снова взмывают и падают к пенной струе за кормой. Только вокруг не лазурные воды Эгейского, а фиолетово-черные волны студеного Белого моря. Катерок перевалку, с одышкой везет нас из Кеми на Соловки. Я ежусь от зябкого ветра и думаю: “Как все похоже на Грецию – острова, море, чайки – и какое же все совершенно иное...”

Действительно: там, далеко – ласка солнца и моря, там мир раскрывает объятия перед человеком, там есть возможность неспешно бродить, размышляя, в тени серебристых олив – или любоваться, держа в руке чашу с вином, на купающихся в теплом прибое красавиц.

Здесь же, на Севере – и голой-то женщины можно за всю свою жизнь не увидеть: не тот, увы, климат. Здесь жизнь настолько сурова, что превращается в непрерывную схватку со смертью. Чего стоит один такой факт: поморы, отправляясь на промысел, обязательно брали с собой смену чистого “смертного” белья – это было так же естественно и необходимо, как взять на коч бочку пресной воды.

Как бы Сократ и Платон рассуждали вот здесь, где-нибудь в декабре, когда дует моряна и некуда скрыться от ледяного дыхания Севера? Чего уж там удивляться, что Запад нас, русских, не понимает: среднему европейцу просто непредставимы условия, в каких нам порою приходится жить.

Куда удивительнее другое: то, что нам, русским, не просто понятны и близки иные культуры, иные миры – но что мы воспринимаем и чувствуем их, словно нечто, нам кровно родное. “*Нам внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...*” – писал Александр Блок. Да, грекам в Греции трудно представить себе Соловки и ту жизнь, что ведут здесь русские; но зато русским на Соловках Греция и близка, и понятна. Иконы и фрески монастыря, и церковная служба, и весь уклад строгой монашеской жизни – это же все православное, греческое, идущее от Византии. Сердце, можно сказать, Соловков, да и всего православного русского Севера – родом из Греции.

И потому, когда старый наш катерок, переваливаясь под напором зюйд-веста (этот ветер не любят здесь и называют “шалоник”) – когда наш катерок, уже на багровом закате, поравнялся с Бабьей Лудой, я подумал: “А ведь мы, в сущности, опять приближаемся к Греции...”. Мы стремимся туда, куда нас ведет наше сердце, а оно у нас – “греческой” веры. И потому, куда бы мы ни пошли, ни поехали, ни полетели – но, если мы путешествуем по велестью души, по сердечному зову, то впереди у нас всегда будет Греция, с ее истиной и красотой – и с ее негасимо сияющим Словом...